

радоваться, и в горизонтали – дар от матери быть в радости жизни, понимать красоту, заложенную в природе, – это сочетание, которое выстраивает иерархию значений. Ведь в результате не кризис, не революция идет впереди, захватывая и порой сметая все на своем пути, а человек, затаивший дыхание и начавший степенный разговор с исконными токами «матери-земли», которые не только сейчас, – они всегда будут ближе человеку, даже если все социальные бури утихнут или разразятся с новой силой. Различие в том, что в иные времена человек это замечает, а в иные – не находит той важной паузы, чтобы впустить в свое ощущение жизни восторг и радость, тишину и вечность. М. Пришвин, будучи дома, в Ельце, видя, как трансформируется все самое дорогое и важное для него, увидев движение этого дорогого и важного, приблизился к подступам истины. «Может быть это солнце восходит, и погребенный под снегом, сохраняемый матерью-землей корень и в корне будущий цветок предчувствует свое весеннее *воскресение* (курсив наш. – А.У.) и передает мне радость свою» [11]. Вот, в песне природе, в горизонтальном срезе смыслов писатель восстанавливает вертикаль – чудо воскресения, загадку утаивания всего лучшего и красивого в периоды зноя или холода для нужного момента. Разве в этом корне и воскресающем после зимней стужи цветке нет отнесенности М. Пришвина к своей судьбе? В этом месте дневника его пребывания в Елецком крае решение вопроса о том, в чем истина его бытия, – именно его в этом времени и в данном пространстве, – намечено. Древние греки называли это «алетейя», не-сокрытое – то, что открывается определенному мыслящему бытию, которым является человек. Через дневник, через литературу это можно передать. М. Пришвину удастся такой разговор о самом главном в контексте осмысления им жизни в родном крае в тяжелые годы потрясений.

Возможно, это и есть та очевидная основа, которая может сыграть роль объединяющего начала столь разных писателей. Их преданность теме человека, а также временем продиктованная укорененность в Царской России, в Советской России, в эмигрантской России, в которых человек менялся, был динамичным его образ и все более трагичной судьба. Важнейшая антропная характеристика в одинаковой мере талантливо, глубоко, трагично и поучительно была выведена в число первых тем их творчества – одиночество и незащищенность человека. Она раскрывалась под ударами судьбы, в стечении личных обстоятельств, в особенно-

стях оптики писателей, которая позволяла видеть и чувствовать значительно больше, чем остальным. Все это вносило вклад в самопознание мыслителей Елецкого края.

В. Розанова, И. Бунина и М. Пришвина объединяют в размышлениях о Елецком крае несколько незыблемых тем, которые составляют инстанцию родных мест в мышлении. Это – религиозность, одиночество и природа. Разнообразные тексты рождены и обретают бесконечное богатство в осмыслении этих экзистенциалов, воспринятых в родных и дорогих сердцу местах.

*Смотри на семью исходя из семьи,
Смотри на селение исходя из селения,
Смотри на царство исходя из царства,
Смотри на мир исходя из мира.
Откуда я знаю, что мир таков?
Благодаря этому [12].*

Примечания

1. В.В. Розанов. Смертное. – М., 2004. – С. 108.
2. Пришвин М.М. Дневники 1914–1917. – М., 1991. – С. 277.
3. Хайдеггер М. Что значит мыслить? // М. Хайдеггер. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991. – С. 138.
4. Там же. – С. 263.
5. Пришвин М.М. Дневники 1914–1917. – М., 1991. – С. 141.
6. Пришвин М.М. Дневники 1918–1919. – М., 1994. – С. 192.
7. Пришвин М.М. Дневники 1918–1919. – М., 1994. – С. 189.
8. Бунин И.А. Жизнь Арсеньева. – М., 1989. – С. 106–107.
9. Там же. – С. 108–109.
10. Пришвин М.М. Дневники 1918–1919. – М., 1994. – С. 230.
11. Там же.
12. Дао-дэ цзин. – М., 2003. – С. 374.

Н.В. Борисова
Елец

ЕЛЕЦ В РОМАНЕ И.А. БУНИНА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»

Роман «Жизнь Арсеньева», исполненный чувством «восхищения бытием», принадлежит, безусловно, к самым замечательным явлениям мировой культуры. Книга, отмеченная «глубиной

мысли, обостренной памятью, художественным артистизмом, редкой литературной культурой» [1], обращена к иероглифам судьбы художника, к томительному рождению поэтического дара.

Земное странничество главного героя Алексея Арсеньева начинается с «первого в жизни путешествия», с поездки в «заповедную страну» – Елец, куда мальчик, едва осознавший себя в окружающем мире, «ехал целую вечность». Тут начинает растягиваться пружина времени – с «городского утра», в котором так много неведомого, яркого, волнующего блеска, музыки, величия и роскоши.



Елец становится тем началом, той «божественной точкой» в судьбе героя, где он впервые отрешится от своего томительного одиночества, отдавшись во власть этой «радости земного бытия». Неведомый доселе мир явится маленькому Арсеньеву в своем торжествующем разнообразии, в этой поразительной вещественно-пространственной определенности, «в таком величии, в такой роскоши», что уже никогда не потускнеет в чуткой душе художника.

Здесь возникает своеобразная игра с пространством, в котором герой «висит над пропастью» городских домов, а над ним разливается «дивный музыкальный кавардак, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела» [1, с. 11]. Это трехуровневое про-

странство, где ребенок находится как бы между небом и землей: внизу «узкое ущелье» города, а над ним, словно благословляя вхождение Арсеньева в жизнь, торжествует колокольный звон. Вся картина онтологически символична. Это не просто постижение себя в окружающем мире, это начало диалога маленького человека и огромного мира, осознания «феноменальной явленности мира» в его телесно-вещественном разнообразии.

Ребенок знакомится с материальной тканью неведомого пространства, поэтому и «запах ваксы», и «круглая коробочка из простого лыка», «сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах», и «ременная плеточка» вызывают «блаженное чувство» полноты жизни, включенности в бытие, особое чувство совпадения «я» и мира.

Ребенок и вещи «подходят друг другу». Обычные реалии старинного русского города приобретают особое онтологическое измерение, выступая в своем наивно-витальном значении, «в чистом виде». Мир еще гармоничен в этих вспышках нарастающего сознания, а непонятные для ребенка трещины в его праздничной картине обнаруживаются только при выезде из города: «...на самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов» [1, с. 12].

Это как бы две вершинные точки окружающего полярного пространства: огромный, прекрасный храм Михаила Архангела и огромный желтый дом с окнами, плохо пропускающими свет из-за железных решеток, – свет и тьма, сакральное и профанное, небесная свобода и тюремный плен... Мир двоится, он оборачивается то прекрасной, то своей страшной стороной, но душа ребенка изначально уже «знает это»; и это другое, не приобретенное, а «бесконечно более богатое знание, с которым мы рождаемся», утверждает писатель [1, с. 12].

Может быть, поэтому второе свидание с городом отмечено уже иной семантикой: на некогда «волшебный» город смотрят глаза мальчика, уже осознавшего трагическую изнанку жизни, познавшего всевластие смерти, такой ненужной среди прекрасного живого мира. Мир вещей ущерблен и пугающе пуст, если он находится под знаком смерти.

И даже пространство вокруг сакрального центра Ельца – храма Михаила Архангела – профанируется, умаляется: «Сказоч-

ная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, - все было теперь уже совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной» [1, с. 43]. Теперь, после поступления в гимназию, Елец станет пространством несвободы, но и в нем тоже есть маленькие радости для гимназиста, как, например, «синий картузик, на околышке которого ярко белели две серебряные веточки» [1, с. 44]. Это очень близко к реальности. Точное описание гимназической формы того времени мы находим в воспоминаниях Д.И. Нацкого: «Форма состояла из синего мундира с серебряным воротником и пуговицами, брюки серого сукна, серое пальто. Кепи синего сукна с черным околышем и белыми выпушками. На фуражке был значок в виде скрещенных дубовых листьев, между которыми буквы ЕГ» [2].

Жажда пребывания, присутствия в этом непонятном, пугающем и столь прекрасном мире оказывается столь сильной, что поглощает это «зияние несуществования», и смерть тускнеет и забывается: «И я закрывал глаза и смутно чувствовал: все сон, непонятный сон! И город, который где-то там вдали, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты, чувства – все сон. Грустный ли, тяжёлый ли? Нет, все-таки счастливый, лёгкий...» [1, с. 48]. Но этот «сон» реален до осязаемости, особенно тогда, когда пространственная протяженность елецкого мира приобретает глубину времени. Теперь дорога в Елец проникнута духом старины, русской истории, «ощущением России», причастности к ее судьбе. Бунинская топонимика – Становая, Становлянский верх, Беглая Слобода и, наконец, Елец, лежащий «на той роковой черте, за которой некогда простирались земли дикие, неизвестные», – становится пространственным выражением «кровного родства» с Родиной, которое так отчетливо ощутил уже молодой писатель в далекой Франции. Печать древности лежит на всем, что окружает елецкого гимназиста. Дух русского старинного житья-бытья и в «крепких нравах купеческой и мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан...», во всем том, что «присуще старому русскому городу...» [1, с. 51].

Елецкий мир оказывается многослойным, пластичным и единым-целостным в своем качественном многообразии. Он стано-

вится центром, от которого расходятся линии судьбы Арсеньева, судьбоносной точкой в персональной мифологии писателя. Бунин создает свою онтологическую модель русского города, сосредотачиваясь на частности, идя от них к глубинам национального самосознания, от краев – к центру. Елец становится символом всего русского, что так глубоко и болезненно чувствовал Бунин, что он любил и ненавидел. В Ельце особенно отчетливы изгибы национального характера, противоречия духа, глубинные архетипы народного почвенного сознания, наша сила и слабость. Рассуждая о «русской страсти ко всяческому самоистреблению», о «безделье, дреме, мечтательности», особой «неустроенности» мужика, Бунин пытается приблизиться к тайнам национальной души сквозь русские парадоксы. У Бунина все обращено к некой неоформленности русской души, странной «текучести» национального характера.

Русский человек может быть социально неустроенным и даже убогим, ибо он в бунинском дискурсе больше космоцентричен, нежели социцентричен, «он не ценил – вообще не придавал никакого значения – сугубо земным атрибутам своего существования...» [3].

Может быть, поэтому «алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства с проклятием этому стяжанию, с горькими, пьяными слезами о своем окаянстве...» [1, с. 37].

Однако была в России и своя «соль земли». Бунин обнаруживает такого человека в Ельце, «в мелкой и бедной среде». Писатель создает образ мещанина, «торгового человека» Ростовцева, в доме которого царит образцовый порядок, «раз и навсегда выработанный устав жизни».

Такие ельчане, как Ростовцев, свидетельствуют о времени «величайшей русской силы» и «огромного сознания её». Во всем, что делает этот торговый человек, чувствуется гордость за Россию, её сила, богатство, праведность, благолепие. И когда маленький гимназист Алёша Арсеньев читал стихи Никитина, Ростовцев «сжимал челюсти и бледнел», приходя в состояние сильного душевного волнения: «- Да, вот это стихи! – говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. – Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат мещанин, земляк наш» [1, с. 55].

Ростовцев занимается тем, что скупает и перепродает хлеб, скотину. Честь торгового человека для него превыше всего: «Что нам векселя? Не русское это дело. Вот в старину их в помине не было, записывал торговый человек, кто сколько ему должен, простым мелом на притолке» [1, с. 55].

В «Жизни Арсеньева», оглядываясь в прошлое из эмигрантского далека, Бунин признается устами своего автобиографического героя, что в Ельце он почувствовал, надышался «крепкой» гордостью за Россию.

Однако далеко не все елецкие купцы таковы: «Прочие “торговые люди” нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не Ростовцевы...: немало в своем доме они просто разбойничали, “норовили содрать с живого и мертвого”, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо...» [1, с. 55].

Не святыми были, по мнению Бунина, представители и других сословий: «... всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий» [1, с. 55].

И всё-таки не только Ростовцев «мог гордо побледнеть», услышав стихи Никитина «Это ты, моя Русь державная». Бунин признается, глядя в прошлое, что он «почти с ужасом» понимал, «над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, “мирного и благоденственного жития” высится русская корона» [1, с. 56].

Елец в бунинском дискурсе – это уездная Россия; исконно провинциальный мир, казалось бы, навеки утраченный, восстает на страницах «Жизни Арсеньева» в калейдоскопе лиц, голосов, красок, этнографических подробностей и хозяйственно-экономических примет городского быта, отражаясь в художественном зеркале, причудливо и правдиво одновременно. Этот мир населен представителями разных сословий, находящихся в разном имущественном положении, но несущих миру дар активности, впечатлительности. Ельчане – единый союз людей, объединенных народным сознанием с его неиссякаемой «натуралистичностью» и абсолютной верой в справедливость Божьего промысла.

И не случайно лучшие страницы романа посвящены елецким храмам, лучше которых для писателей «нет ничего в мире»:

«Нет, это неправда, - признается герой-повествователь – то, что говорил я о готических соборах, об органах: никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке Воздвиженья», где все еще «течет, течет святая Мистерия», свидетельствуя о единстве небесного и земного, и все это навеки входит в душу.



Воистину русская душа «живет интуицией присутствия трансцендентного начала, которое никогда прямо не вмешивается в наши земные дела, но в конечном счете определяет их смысл» [4].

Примечания

1. Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. – Т. 1. – М.: Худ. лит-ра, 1988. – С. 597. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы.

2. Нацкий Д.И. Мой жизненный путь. – М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2004. – С. 44.